

Зина ДОЛГОВА

Связь человека

"Связь человека с местом его обитания — загадочна, но очевидна. Ведает ею известный древним *genius loci*, гений места..." — писал Пётр Вайль в предисловии к своей книге, которая так и называется — "ГЕНИЙ МЕСТА".

Но есть места, которые рождают гениев. И среди них — город, который я знаю, как знают очень близкого человека, с которым можно расстаться на годы, но встретиться и начать говорить с, казалось, только вчера брошенной фразы.

Этот город — Одесса. Мне кажется, что это самый густонаселённый город на Земле. По его улицам, незримо, по-прежнему ходят мои родные и друзья: и те, кто уже навсегда расстался с нами, и те, кого жизнь разбросала по разным странам. Прав Илья Рейдерман: "Бывших одесситов не бывает".

В 1968 году я встречалась с ними в сибирском Академгородке, в клубе "Под интегралом".

Кого только не приглашал одессит Анатолий Бурштейн на встречи с "Одеколончиком"! Потом привозила в Одессу своих учеников из Новосибирска, и они стояли, совершенно ошарашенные близостью XIX века, во дворе дома Амалии Ризнич на Торговой и не могли поверить, что сюда приходил Пушкин.

Несколько лет назад мне посчастливилось редактировать удивительную книгу живущего в Лионе одессита Михаила Обуховского "Джазовые вариации на тему Одессы".

В прошлом году в Израиле в передаче Игоря Харифа я была заочным оппонентом Быкова, назвавшего ПОШЛЫМ одесский культурный миф.

Но Одесса населена и многочисленными героями, которые, обретая плоть благодаря создавшим их писателям-одесситам, ходят по её улицам.

И если ночью на углу Канатной и Новорыбной (или Пантелемоновской), чуть ближе к Куликовому полю, вы встретите двух мальчишек, это наверняка будут Гаврик и Петя. А выше по Канатной (тогда — улице Полтавской победы) Корейко всё ещё всматривается в освещённые лунной булыжники: не обронил ли кто-то кошелек.

А недалеко от Оперного театра о чём-то беседует Юрий Олеша со своим другом Борисом Бобовичем. Около них какое-то время стоит старый одессит, потом раздосадованно машет рукой и со словами "А, когда мне это неинтересно!" уходит.

Чуть ниже, в Театральном переулке, входит в дом № 14 высокий молодой человек. Сейчас откроется дверь, ведущая в квартиру 15. Там живёт Александр Аренберг. А высокий молодой человек — Константин Паустовский, который в том, 1927-м, году жил у друга.

Обо всём этом лучше прочитать у прекрасного краеведа Ростислава Александрова, которого я когда-то знала как Сашу Розенбойма. Мы встречались в редакции "Комсомольской искры" и, если память мне не изменяет, в доме моей близкой приятельницы Антонины Соломоновны Бобович. Он рассказывал о поисках могилы Бабеля.

Как всё близко в Одессе: история литературы — это не выхоленный советскими цензорами учебник, а улицы, дворики и дома. Мой друг, работавший на Одесской киностудии, привёл меня к Аренбергу. Я увидела почти слепого человека, но... с теми же смеющимися глазами, о которых писал Паустовский. Тогда Александр Анисимович жил уже не в Театральном переулке, а на Пролетарском бульваре, в узкой комнате, большую часть которой занимал шкаф с томами Брокгауза и Ефрона. Когда к нему, почти девяностолетнему старику, придут с обыском, эти тома будут листаться с таким вниманием, которого ни один читатель, наверное, не проявлял. На столе они увидят листок, на котором огромными буквами — чтобы увидеть! — Аренберг записал мой адрес. Так я познакомилась с коридорами и одним из кабинетов СЕРОГО ДОМА, а "виновником" был... Паустовский. Не только Аренберг и Паустовский были друзьями, дружили и их сыновья. В убогой комнате Аренберга на стене висел большой портрет сына, написанный его другом. Друзья не вернулись с войны, и этот портрет остался для обоих отцов единственной памятью. Как ни любил Аренберг Паустовского, но портрет отдать не согласился. Именно из-за письма Паустовского в защиту автора книги "Не хлебом единым" и приходили к Аренбергу "почитатели" Брокгауза и Ефрона, а потом ко всем, чьи адреса нашли у старого репортёра.

Ни один талантливый писатель не выстроит сюжет так непредсказуемо, как делает это жизнь.

Я девчонкой приходила с подружкой в обычный одесский дворик. Там на очень привлекавшем меня длинном деревянном балконе-галерее, в маленькой комнате, жила её бабушка. В квартире вкусно пахло жарены-

ми семечками — бабушка продавала их маленькими или большими гранёными стаканами. Подружка стеснялась этого, а бабушка (я даже имени её не знала) говорила ей, что САМ отец этого байстрюка, которого сегодня знает "вся Одесса и дальше", продавал семечки.

Тогда я ещё не знала, что речь идёт о Багрицком. Думаю, что семечки были внесены в список товаров просто так, для внучки.

В 1966 году ребята из литературной студии, которую я вела в Новосибирске, написали письмо Лидии Густавовне Багрицкой, с которой я к тому времени уже была знакома, с просьбой разрешить присвоить студии имя её сына Всеволода. 24 года просуществовала литературная студия имени Всеволода Багрицкого, и сегодня я получаю в Израиле письма от студийцев, давно ставших не только мамами-папами, но и бабушками-дедушками.

В доме Антонины Соломоновны Бобович я познакомилась с её двоюродным братом Борисом Владимировичем Бобовичем, которого впервые увидела в редакции газеты "Морьяк" в рамках конференции "Литературная Одесса 20-х годов".

У него был членский билет Союза писателей, датированный 1934 годом, но ни в одной литературной энциклопедии не значится фамилия Бобович. К тому времени я писала научную работу по творчеству Олеша и, листая в архиве одесские газеты, часто встречала стихи, подписанные то Бобович, то Б. Б-вич. Хотя разница в возрасте была более чем внушительной, мы подружились. Как-то он предложил написать стихотворение на заданное слово, и я до сих пор не понимаю, как решилась на это состязание, но свидетельства этой игры хранятся у меня и сегодня.

Бобович прекрасно читал Блока. Без преувеличения, он поклонялся Блоку.

Это был добрый, душевно щедрый человек. К себе относился с юмором. Он сам рассказывал мне, как в очень юном возрасте послал свои стихи в газету за подписью БОР. БЭ. С трепетом открыл конверт с грифом редакции и прочитал: "Дорогой Бор. Бэ. Мы не без БОР-БЫ выбросили Ваши стихи в корзину".

Именно Бобович убедил меня приехать в Москву, чтобы поработать в личном архиве Юрия Карловича Олеша. Он позвонил Ольге Густавовне Суок-Олеше и дал мне рекомендацию. В тот первый приезд я и остановилась у Бобовичей.

В день, когда мы должны были приехать в Лаврушенский, в Доме литераторов прощались со Степаном Злобиным, автором "Степана Разина". Борис Владимирович должен был заехать на панихиду. В маленьком зале стояли люди. У стены на стульях сидели пожилые люди, среди них — представительный Юрий Левитанский (ему уже нелегко было стоять на протезе). Вдруг довольно тесно стоявшие люди как-то зашевелились, а сидевшие у стены встали: опираясь на трость, в зал вошёл Константин Георгиевич Паустовский. Он не сел ни на один из освободившихся стульев. По тому, как встали эти пожилые и уважаемые люди, чувствовалось особое отношение к этому человеку. Я стояла чуть в стороне, но когда Бобович поздравил меня, с трудом сделала полтора шага.

Как это, оказывается, много — просто позвать руку порядочному человеку! У меня и сейчас светлеет на душе, когда я вспоминаю об этом. Не всё, что произошло со мной в жизни, запечатлелось в памяти так ярко, как этот эпизод, длившийся от силы пять минут. Я могла бы не только сказать, кто в каком порядке так и остался стоять, пока кто-то не отйдёт Паустовского, — я помню само рукопожатие. Память тела, о которой писал Евтушенко, сохранила несколько рукопожатий, как сохранила щекощущее прикосновение к щеке травинки, когда я, лёжа над обрывком на 13-й станции Большого Фонтана, представляла, что я нахожусь в волшебном лесу.

Не помню, почему в Лаврушенский переулок я в тот первый раз поехала без Бобовича. Когда двенадцатилетней девочкой я со своей Канатной угло Малой Арнаутской без разрешения пускалась в путешествие по городу, я ещё и не знала фамилии ОЛЕША.

А теперь, через шестнадцать лет, я стою в Лаврушенском переулке, у дома № 17, и перевожу дыхание, чтобы подняться в 73-ю квартиру.

И, конечно, стоя перед дверью, я не сразу решилась позвонить.

Я и думать не могла в ту минуту, что подружусь с Ольгой Густавовной, что в один из приездов на её маленькой кухне буду сидеть рядом со всеми сёстрами Суок, поражаясь абсолютной их непохожести, и — совсем уже фантастика! — с Виктором Борисовичем Шкловским.

Я терпеть не могу виски, но в тот день, если бы вместо "Белой лошади" мне налили сивуху,

я бы даже не заметила. Куда больше пьянила удивительная — то взлетающая по спирали, то возвращающаяся на нижний виток — речь Шкловского. Я несколько раз слушала Шкловского в Доме литераторов. Не потерять его мысль было так же тяжело, как пытаться поймать понравившийся золотой листок, который с десятками других кружит и относит ветер. Это самое увлекательное интеллектуальное и эстетическое действо, в котором мне посчастливилось быть незаметным стажёром.

На кухне у Ольги Густавовны он был другим. Обаятельный мужичок-боровичок со лбом философа наливал мне виски, а я, сидя слишком близко за маленьким столом, до неприличия пристально смотрела на него, чтобы не пропустить, чтобы понять, в какой момент из ничего возникает Мысль! Было много серьёзного и много смешного.

Тогда готовилась к печати "Тетива о несходстве сходного" (среди многих моих потерь — и эта книга с такой дарственной надписью, что цитировать, не имея оригинала для представления, просто невозможно). Там, на кухне, он рассказал мне историю (все остальные уже знали её) потери рукописи этой книги и неожиданно счастливого её завершения.

Закончив книгу, Виктор Борисович сдал рукопись в издательство.

Когда все сроки вышли, Шкловский поинтересовался её судьбой. Словом, через довольно продолжительное время ему признались, что рукопись утеряна. О том, как он пережил это, вставляла реплики Серафима Густавовна (боюсь быть неточной, но, кажется, она сказала, что у Виктора Борисовича случился инфаркт). Прошло 3 года. Шкловский так и не приступил к восстановлению книги. Зайдя по делу в ту же редакцию и ожидая кого-то, он от нечего делать скользил взглядом по фигуре сидящей к нему спиной секретарши. Как видно, его привлекла та часть тела, на которой сидела эта юная особа. (Все допущенные мною вольности — пересказ куда более острого рассказа Шкловского.) Задержавшись взглядом на симпатичной округлости, Шкловский вздрогнул, увидев что-то "мучительно-близкое, почти родное".

— Девушка! Вы давно сидите на этой папке?
— Как пришла в редакцию, так и подложила.
— И сколько вы здесь работаете?
— Больше трёх лет (сказано это было с нескрываемой гордостью).

Виктор Борисович делает паузу и, хохоча глазами — просто СЛЫШИШЬ этот смех! — добавляет: "Эта маленькая бл... сидела своей задницей на моей рукописи (!) три года!!!"

Шкловский в известной книге говорил, что он через одно рукопожатие был знаком со Львом Толстым. Мне хватит этого одного рукопожатия. Он, кстати, был очень галантен, целовал руку, что при всём его облике было ужасно симпатично и вызывало у меня желанные улыбки.

Пишу эти строки и не могу поверить, что это всё действительно было со мной.

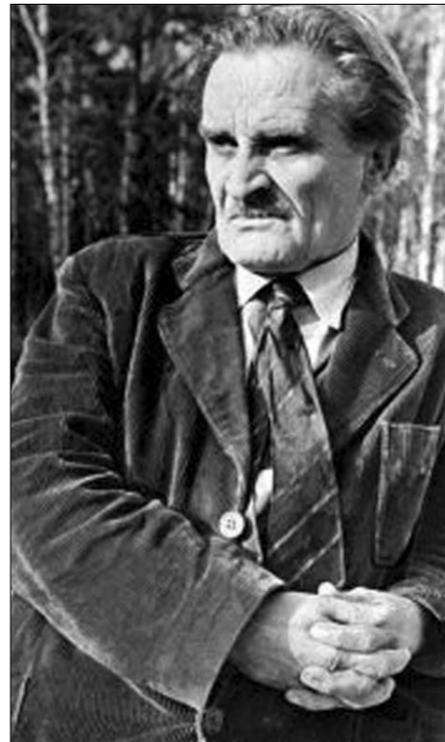
Что Ольга Густавовна пригласила меня выступить на вечер, посвящённом творчеству Олеша, что Шкловский поддержал мою кандидатуру. Но выступать в присутствии Шкловского и Катаева...

Долгие годы я вообще не вспоминала свою жизнь до 90-го года. Наш мозг знает, как защитить нас от ненужных в данный момент воспоминаний.

А теперь... то ли пришло время для них, то ли наш мудро устроенный мозг выталкивает из пассивной памяти то, что может поддержать, дать новые силы. И я опять оказываюсь на той маленькой кухне. Лидия Густавовна, допив чай, встаёт. Она торопится закончить книгу воспоминаний об Эдуарде Багрицком, как будто предчувствует, что, увидев книгу напечатанной, тихо уйдёт.

С Лидией Густавовной будут переписываться члены литературной студии, которую я вела. В летописи студии хранятся письма, написанные её дрожащим почерком. Она была очень рада, что в Новосибирске ребята, любящие поэзию, решили назвать студию именем её сына. Мне тогда было 25 — 26 лет.

В холерный 70-й год уже прошлого столетия моя Мама будет угощать Ольгу Густавовну на нашей даче варениками с вишнями. Она приедет с бывшим грузинским князем, у которого снимала дачу (доживи он да наших дней, мог бы восстановить свой титул), и подругой — соседкой по Лаврушенскому переулку. У меня рука отказывается назвать её имя и фамилию. Ведь её появление на нашей даче — точно абсолютно случайное. Сегодня я жалею, что не обладаю... тщеславием? — не знаю, как назвать это отсутствующее качество, но мне и в голову не пришло, что можно сфотографироваться с этими людьми в Лаврушенском или на даче. Осталось несколько



Юрий Олеша.

очень тёплых писем и "Три толстяка", подписанные Ольгой Густавовной моему старшему сыну, которому тогда было 4 года.

С Ольгой Густавовной мы действительно подружились. Она очень высоко ценила моего мужа и очень тепло относилась ко мне. Зная её требовательность к людям, я даже тайно гордилась этим.

Ольга Густавовна разрешала мне самостоятельно работать в личном архиве Юрия Карловича. Помню, что я читала (и даже переписывала, но, увы, моя не совсем обычная репатриация не позволила мне вывезти свой архив) стихотворение Давида Маркиша, посвящённое Олеше.

Ольга Густавовна и в очень пожилом возрасте была очень красива. Полноватая, очень представительная, она, казалось, была создана для красивой гостиной с высокими креслами, и невозможно было представить её в убогой обстановке, за швейной машинкой или на кухне, удручённо задумавшейся, из чего приготовить обед.

Король метафор жил настолько скудно, что иногда у них с Ольгой Густавовной было на завтрак одно яйцо на двоих. Свидетелем этого завтрака однажды стал Катаев. Ольга Густавовна очень комично показывала, как маститый писатель тыкал тростью в шкаф с рукописями и втолковывал Юрию Карловичу, что в метафорах, в них заключённых, спрятаны и дача, и машина.

Когда Олеше сообщили, что его приглашают в посольство Польши для встречи с родственниками, Ольга Густавовна сняла серую штору и пошла мужу брюки.

Были и грустные воспоминания. Ольга Густавовна считала, что её сын покончил с собой, боясь, что его могут арестовать и это навредит Юрию Карловичу.

Так ли это, уже никто не узнает (я могу только ругаться за правдивость моих слов), но не секрет, что Олеша длительное время пребывал в подавленном состоянии. Его личный список злодеяний советской власти не давал его совести успокоиться. Он был из тех, кого безошибочно вычисляла и отбрасывала эта власть, даже когда он пытался с ней примириться. За эту попытку примирения была своя плата: мучительно трудно писалось, а власть пыталась его замалчивать.

Можете себе представить душевное состояние Олеша, когда в 1956 году, наконец, вышел его сборник!

Он стоял недалеко от кассы и слушал, как все люди в движущейся очереди называют одну и ту же сумму — 8 рублей 85 копеек. Столько стоила Его книга.

Получив деньги (он принёс их в небольшом фибровом чемоданчике), Олеша сказал жене:

— Купи себе серебряные платье!
— Юрочка, но так это не делается. Нужно купить материал, пошить...

— Тогда, — перебивает жену Олеша, — давай купим что-нибудь! Давай купим лимон!

У меня и сегодня дрожит что-то внутри от этого "нетерпения сердца" поэта.

Я не только не фотографировала в этой маленькой квартирке, я даже почти не записывала — на потом. Но даже многое из того, что я прекрасно помню, я никогда не решилась бы обнародовать без согласия Ольги Густавовны. Спросить уже давно не у кого. Об Олеше написано сотни страниц на русском и французском. Не всё кажется мне бесспорным (и не всё нравилось Ольге Густавовне). Но я не пишу исследование. Я, да простят мне это выражение, смакую послекусие этих удивительных встреч, которые подарила Судьба только потому, что мне повезло жить в нашем удивительном городе.